Михаил Булгаков

Собачье сердце

Оглавление

[Глава 1](#_Toc383457070)

[Глава 2](#_Toc383457071)

[Глава 3](#_Toc383457072)

[Глава 4](#_Toc383457073)

[Глава 5](#_Toc383457074)

[Глава 6](#_Toc383457075)

[Глава 7](#_Toc383457076)

[Глава 8](#_Toc383457077)

[Глава 9](#_Toc383457078)

[Глава 10](#_Toc383457079)

[Эпилог](#_Toc383457080)

## Глава 1

У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать… У-у-у-у-у…

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поёт на лугу при луне – «Милая Аида» – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас… Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление лёгких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С… эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да…

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…

Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик» она назвала его… Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь… Р-р-р…

Гау-гау…

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?

Вот он рядом… Чего ждёт? У-у-у-у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у… Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У-у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери!

Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку.

Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что… – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А-га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощёлкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью – как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф-р-р-р… га…у! Вон! Не напасёшься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Фёдор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоится. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

– Да ничего-с.

– А Фёдор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Чёрт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй… Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули и вот – бельэтаж.

## Глава 3

На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжёлый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

– Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый – он был уже без халата в приличном чёрном костюме – передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

– Ново-благословенная? – осведомился он.

– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная – 30 градусов.

– А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, – а во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову?

– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.

– И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, – …Мм… Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады…».

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру.

Глаза Филиппа Филипповича засветились.

– Это плохо? – жуя спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

– Это бесподобно, – искренно ответил тяпнутый.

– Ещё бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай.

– Пса в столовой прикармливаете, – раздался женский голос, – а потом его отсюда калачом не выманишь.

– Ничего. Бедняга наголодался, – Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.

– Гм… Да ведь других нет.

– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе.

– Гм… – с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

– Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

– Вот чёрт…

– Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.

Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать, и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, – думал он, захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы.

– Сен-Жюльен – приличное вино, – сквозь сон слышал пёс, – но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягчённый потолками и коврами, хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина.

– Зинуша, что это такое значит?

– Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – ответила Зина.

– Опять! – горестно воскликнул Филипп Филиппович, – ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда – спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

– Убивается Филипп Филиппович, – заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

– Да ведь как не убиваться?! – возопил Филипп Филиппович, – ведь это какой дом был – вы поймите!

– Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, – возразил красавец тяпнутый, – они теперь резко изменились.

– Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я – человек фактов, человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

– Это интересно…

«Ерунда – калоши. Не в калошах счастье», – подумал пёс, – «но личность выдающаяся.»

– Не угодно ли – калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая – подчёркиваю красным карандашом: ни одного – чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

– Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – заикнулся было тяпнутый.

– Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. – Гм… Я не признаю ликёров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень… Ничего подобного! На нём есть теперь калоши и эти калоши… мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, – кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь). На какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

– Разруха, Филипп Филиппович.

– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заёрзали по скатерти. – Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? – яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. – Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались.

Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», – мутно мечтал пёс, – «первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

– Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! – «Угу-гу-гу!»

Какие-то пузыри лопались в мозгу пса…

– Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

– Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, – шутливо заметил тяпнутый, – не дай бог вас кто-нибудь услышит.

– Ничего опасного, – с жаром возразил Филипп Филиппович. – Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно – что под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «мерси».

– Минутку, доктор! – приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами:

– Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

– Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он.

– Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю… Помните? Дуэт… тари-ра-рим.

– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, – под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, – начало девятого… Ко второму акту поеду… Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух… Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола – в питательную жидкость и ко мне!

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, – паталогоанатомы мне обещали.

– Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживает.

«Обо мне заботится», – подумал пёс, – «очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он – волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки… Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне. А вдруг – сон? (Пёс во сне дрогнул). Вот проснусь… и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовая, снег… Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды день, серые гармоники под подоконником наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, всё трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса – красавца.

«Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито», – размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно.

Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича – два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блёсток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

– Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущённо говорила Зина, – а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

– Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

– Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь – как он не лопнет.

– Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе помешала сова, хулиган?

– У-у! – скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке.

Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином.

На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

– Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, – расстроенно докладывала Зина, – ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её – цап! Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причём пёс заливался горькими слезами и думал – «бейте, только из квартиры не выгоняйте».

– Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 15 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пёс понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

– Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.

– Ещё бы, – за шестерых лопает, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник – всё равно, что портфель», – сострил мысленно пёс, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещён именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…

– Вон! – завопила Дарья Петровна, – вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься?» – умильно щурил глаза пёс. – «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» – и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду.

Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой.

В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

– Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна – отстань! Зина сейчас придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

– Нам это ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.

Огней под потолком не было. Горела только одна зелёная лампа на столе.

Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах.

Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.

– «К берегам священным Нила», – тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в пёсьей шкуре оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

Зинка в кинематограф пошла, – думал пёс, – а как придёт, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, – телячьи отбивные!

###### \* \* \*

В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие.

Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак – полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку – съел без всякого аппетита. Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.

Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

– Отлично, – послышался его голос, – сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

– Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», – раздумывал он… И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

– Когда умер? – закричал он.

– Три часа назад. – Ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстёгивая чемодан.

«Кто такой умер?» – хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под ноги, – «терпеть не могу, когда мечутся».

– Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! – закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. – Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас – скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», – пёс обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ли, пожрать? Ну их в болото», – решил пёс и вдруг получил сюрприз.

– Шарику ничего не давать, – загремела команда из смотровой.

– Усмотришь за ним, как же.

– Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство», – подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, – «просто глупо…»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа – то ли в злобе, то ли в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно, неясно…

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», – думал он, – «две пары уже пришлось прикупить и ещё одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности – солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать», – тосковал пёс, сопя носом, – «привык. Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих злосчастных демократов…»

Потом полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

«У-у-у!» – как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять» – бешено, но бессильно подумал пёс. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь открылась. Пёс вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую.

Холодок прошёл у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился?» – подумал он подозрительно, – «бок зажил, ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в чёрных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.

– Ошейник, Зина, – негромко молвил Филипп Филиппович, – только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.

«Что же… Вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам… Хоть бы я знал, что будете делать со мной…»

Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость… Отчего мне так мутно и страшно…» – подумал пёс и попятился от тяпнутого.

– Скорее, доктор, – нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей…» – мелькнуло в голове. – «За что?» – И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

– На стол! – весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом – ничего.

## Глава 5

###### Из дневника доктора Борменталя

(Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чёток, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.).

###### \* \* \*

***22 декабря 1924 г*** *. Понедельник. История болезни.*

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода дворняжка. Кличка – Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топлёного молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.).

Сердце, лёгкие, желудок, температура…

###### \* \* \*

***23 декабря.***

В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удалён после трепанации черепной крышки придаток мозга – гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

###### \* \* \*

***24 декабря.***

Утром – улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

###### \* \* \*

***25 декабря.***

Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

###### \* \* \*

***26 декабря.***

Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

###### \* \* \*

***27 декабря.***

Пульс 152, дыхание 50, температура 39, 8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

###### \* \* \*

***28 декабря.***

Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37, 0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

###### \* \* \*

***29 декабря.***

Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища.

Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского Ветеринарного Показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура – 37, 0.

(Запись карандашом).

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 Мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдалённо напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения.

Взвешивание дало неожиданный результат – 30 кг за счёт роста (удлинение). костей. Пёс по-прежнему лежит.

###### \* \* \*

***31 декабря.***

Колоссальный аппетит.

(В тетради – клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 Мин. Дня пёс отчётливо пролаял а-б-ыр.

###### \* \* \*

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

***1 декабря.***  (перечёркнуто, поправлено) 1 января 1925 г.

Фотографирован утром. Счастливо лает «абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово «абыр-валг», оно означает «Главрыба»… Что-то чудовищ…

###### \* \* \*

***2 января.***

Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. – глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

###### \* \* \*

(Перерыв в записях).

###### \* \* \*

***6 января.***

(То карандашом, то фиолетовыми чернилами).

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает – что такое.

###### \* \* \*

Я теряюсь.

###### \* \* \*

Приём у профессора прекращён. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «ещё парочку».

###### \* \* \*

***7 января.***

Он произносит очень много слов: «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

###### \* \* \*

Ей-богу, я с ума сойду.

###### \* \* \*

Филипп Филиппович всё ещё чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии).

###### \* \* \*

По городу расплылись слухи.

###### \* \* \*

Последствия неисчислимые. Сегодня днём весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас ещё под окнами.

В утренних газетах появилась удивительная заметка «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чём не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». – О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это – кошмар.

###### \* \* \*

Ещё лучше в «Вечерней» – написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок – скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это – что-то неописуемое… Он говорит новое слово «милиционер».

###### \* \* \*

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортёров, один из них пролез на кухню и т. д.

###### \* \* \*

Что творится во время приёма! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут…

###### \* \* \*

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем – сами не знают.

***8 января.***  Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку – перемена гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечение (подчёркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (зачёркнуто)… на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчётливо произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

– Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете, общими усилиями Шарик был водворён в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да… От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор…». Я ничего не понял. Он пояснил:

– «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему бельё, штаны и пиджак».

***9 января.***  Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «не толкайся», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание америки», «примус».

***10 января.***  Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (plаnта). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идёт на лад.

***11 января.***  Совершенно примирился со штанами. Произнёс длинную весёлую фразу: «Дай папиросочку, – у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове – слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей.

Колоссальный аппетит. С увлечением ест селёдку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» – неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:

– Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!

***12 января.***  Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.

Свистал «ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза – мозгового придатка – разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме – гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы – творец. (Клякса).

Впрочем, я уклонился в сторону… Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, – уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

###### \* \* \*

Шарик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я догадался. По Главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

###### \* \* \*

Что в Москве творится – уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось… Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приёмной с Шариком. Смотровая превращена в приёмную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал.

Еле отучили.

###### \* \* \*

С Филиппом Филипповичем что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

###### \* \* \*

(В тетради вкладной лист.).

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной («стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

###### \* \* \*

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю в чём дело. Бурчал что-то насчёт того, что вот не догадался осмотреть в паталогоанатомическом весь труп Чугункина. В чём дело – не понимаю. Не всё ли равно чей гипофиз?

***17 января.***  Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился. а) совершенный человек по строению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая; д) начал курить; е) ест человеческую пищу; ж) одевается самостоятельно; з) гладко ведёт разговор.

###### \* \* \*

Вот так гипофиз (клякса).

###### \* \* \*

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор Борменталь.

## Глава 7

– Нет, нет и нет! – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить.

– Ну, что, ей-богу, – забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания.

– Всё равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так «примите»? – расстроился Шариков, – я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилкой, пожалуйста, – добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я ещё водочки выпью? – заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? – осведомился Борменталь, – вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите… – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, ещё рыбы, – произнёс профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, – сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

– Вот всё у вас как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

– А как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс:

– Ну желаю, чтобы все…

– И вам также, – с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднёс к носу, понюхал, а затем проглотил, причём глаза его налились слезами.

– Стаж, – вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивлённо покосился.

– Виноват…

– Стаж! – повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, – тут уж ничего не поделаешь – Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

– Вы полагаете, Филипп Филиппович?

– Нечего полагать, уверен в этом.

– Неужели… – начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

– Spаtеr… – негромко сказал Филипп Филиппович.

– Gut, – отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

– Я не хочу. Я лучше водочки выпью. – Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

– Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? – осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

– В цирк пойдём, лучше всего.

– Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Филиппович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

– В театр я не пойду, – неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.

– Икание за столом отбивает у других аппетит, – машинально сообщил Борменталь. – Вы меня извините… Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

– Да дурака валяние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

– Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли…

– Уж и так читаю, читаю… – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.

– Зина, – тревожно закричал Филипп Филиппович, – убирайте, детка, водку больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»…

– Эту… как её… переписку Энгельса с эти м… Как его – дьявола – с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, – ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…

– Так я и думал, – воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, – именно так и полагал.

– Вы и способ знаете? – спросил заинтересованный Борменталь.

– Да какой тут способ, – становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, – дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…

– Насчёт семи комнат – это вы, конечно, на меня намекаете? – Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съёжился и промолчал.

– Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

– Тридцати девяти человекам, – тотчас ответил Борменталь.

– Гм… Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам – Зину и Дарью Петровну – считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

– Хорошенькое дело, – ответил Шариков, испугавшись, – это за что такое?

– За кран и за кота, – рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

– Филипп Филиппович, – тревожно воскликнул Борменталь.

– Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали приём. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто…

– Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, – подлетел Борменталь.

– Вы стоите… – рычал Филипп Филиппович.

– Да она меня по морде хлопнула, – взвизгнул Шариков, – у меня не казённая морда!

– Потому что вы её за грудь ущипнули, – закричал Борменталь, опрокинув бокал, – вы стоите…

– Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… А в то же время вы наглотались зубного порошку…

– Третьего дня, – подтвердил Борменталь.

– Ну вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу, кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? – Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

– Все у вас негодяи, – испуганно ответил Шариков, оглушённый нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй… Что я развивался…

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

– Зина! – кричал Борменталь.

– Зина! – орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приёмной… Она в приёмной?

– В приёмной, – покорно ответил Шариков, – зелёная, как купорос.

– Зелёная книжка…

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казённая, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его… Энгельса с этим чёртом… В печку её!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме – как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах…

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», – вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду её есть, – сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетитор и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе – котов нету?

– И как такую сволочь в цирк пускают, – хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

– Ну, мало ли кого туда допускают, – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, – что там у них?

– У Соломонского, – стал вычитывать Борменталь, – четыре какие-то… юссемс и человек мёртвой точки.

– Что за юссемс? – Подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

– Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

– Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было всё ясно.

– У Никитиных… У Никитиных… Гм… Слоны и предел человеческой ловкости.

– Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? – недоверчиво спросил Филипп Филиппович.

Тот обиделся.

– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.

– Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своём кабинете. Он зажёг лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зелёным огнём. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его учёный с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила…» И что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошёл к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать её на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлечённый из недр Шарикова мозга.

Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек её и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав её конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

– Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение.

Редко-редко звучали отдалённые шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетитор в карманчике… Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.

## Глава 9

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

– Воображаю, что будет твориться на улице… Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады», боже мой.

– Он в домкоме ещё может быть, – бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно – что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, в шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

– Так вам и надо! – рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули.

Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей передней.

Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича.

Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

– Я, Филипп Филиппович, – начал он наконец говорить, – на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись.

Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

– Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) В отделе МКХ».

– Так, – тяжело молвил Филипп Филиппович, – кто же вас устроил? Ах, впрочем я и сам догадываюсь.

– Ну, да, Швондер, – ответил Шариков.

– Позвольте вас спросить – почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

– Ну, что ж, пахнет… Известно: по специальности. Вчера котов душили, душили…

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

– Караул! – пискнул Шариков, бледнея.

– Доктор!

– Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, – не беспокойтесь, – железным голосом отозвался Борменталь и завопил:

– Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

– Ну, повторяйте, – сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, – извините меня…

– Ну хорошо, повторяю, – сиплым голосом ответил совершенно поражённый Шариков, вдруг набрал воздуху, дёрнулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел и голова его совсем погрузилась в шубу.

– Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

– …Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

– Прокофьевна, – шепнула испуганно Зина.

– Уф, Прокофьевна… – говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, – …что я позволил себе…

– Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

– Опьянения…

– Никогда больше не буду…

– Не бу…

– Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, – взмолились одновременно обе женщины, – вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

– Грузовик вас ждёт?

– Нет, – почтительно ответил Полиграф, – он только меня привёз.

– Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

– Куда же мне ещё? – робко ответил Шариков, блуждая глазами.

– Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

– Понятно, – ответил Шариков.

Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание.

Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

– Что же вы делаете с этими… С убитыми котами?

– На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

– Позвольте узнать?

– Я с ней расписываюсь, это – наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, – крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.

– Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

– И я с ней пойду, – быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

– Извините, – сказал он, – профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

– Я не хочу, – злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

– Нет, простите, – Борменталь взял Шарикова за кисть руки и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

– Он сказал, негодяй, что ранен в боях, – рыдала барышня.

– Лжёт, – непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. – Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… – Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

– Я отравлюсь, – плакала барышня, – в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день аванс… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…

– Ну, ну, ну, – психика добрая… «От Севильи до Гренады», – бормотал Филипп Филиппович, – нужно перетерпеть – вы ещё так молоды…

– Неужели в этой самой подворотне?

– Ну, берите деньги, когда дают взаймы, – рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

– Подлец, – выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

– Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

– Я на колчаковских фронтах ранен, – пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

– Перестаньте! – крикнул вслед Филипп Филиппович, – погодите, колечко позвольте, – сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

– Ну, ладно, – вдруг злобно сказал он, – попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

– Не бойтесь его, – крикнул вслед Борменталь, – я ему не позволю ничего сделать. – Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

– Как её фамилия? – спросил у него Борменталь. – Фамилия! – заревел он и вдруг стал дик и страшен.

– Васнецова, – ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

– Ежедневно, – взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, – сам лично буду справляться в чистке – не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы… Узнаю, что сократили, я вас… Собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, – говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на Борменталевский нос.

– У самих револьверы найдутся… – пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

– Берегитесь! – донёсся ему вдогонку Борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина.

Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме.

Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками к профессору.

– У вас боли, голубчик, возобновились? – спросил осунувшийся Филипп Филиппович, – садитесь, пожалуйста.

– Мерси. Нет, профессор, – ответил гость, ставя шлем на угол стола, я вам очень признателен… Гм… Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович… Питая большое уважение… Гм… Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост… – Пациент полез в портфель и вынул бумагу, – хорошо, что мне непосредственно доложили…

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать.

Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «…А также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает у него в квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова – удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

– Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, – или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

– Извините, профессор, – очень обиделся пациент, и раздул ноздри, – вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я… – И тут он стал надуваться, как индейский петух.

– Ну, извините, извините, голубчик! – забормотал Филипп Филиппович, простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задёргал…

– Я думаю, – совершенно отошёл пациент, – но какая всё-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают…

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

###### \* \* \*

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович.

Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

– Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, – и вон из квартиры!

– Как это так? – искренне удивился Шариков.

– Вон из квартиры – сегодня, – монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

– Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

– Убирайтесь из квартиры, – задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом – шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростёртый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приёма по случаю болезни профессора – нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел поцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и насторожённым голосом Зине и Дарье Петровне сказал:

– Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

– Хорошо, – робко ответили Зина и Дарья Петровна.

– Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, – заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо – это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

– Хорошо, – ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, насторожённые, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора… Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович.

Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное и всё, ну, всё… Вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё что… Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт…

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.